

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Роман

*Я девчонка еще молодая,
а душе моей тысяча лет...*

Гл. № 1

Стрекот и пыль столбом! Шили рубашки, кальсоны, постельное белье...

Это случилось неприметно, исподволь. Всю жизнь, с детства была бойкой шалуньей, «звездой»! Одно только и занимало мысли и сердце — успех! Восхищение публики. Но вот бедовая душа налетела на неожиданную встречу, как коса на камень, и переломилась...

Они стояли с мужем на вокзале; мимо, отдав честь, прошел капитан. И будто что ударило, взорвалось, переполнило жаром. *«Я только вздрогнула: этот может меня приручить»*. А он и не взглянул. Даже хуже: взглянул, как на никому не нужную этажерку. И прошел мимо. И унес навек ее сердце... Это был он. «Моторный двигатель прогресса», возрождающий погубленный флот... Анна слишком привыкла к восхищенным взглядам мужчин и давно уже принимала их как должное. А этот не заметил. Внимания не обратил... То есть началось все элементарно, с уязвленного самолюбия. «Ну, погоди, дорогой!» — наверное, прищурилась она тогда вслед широкоплечему капитану...

— Анна Васильевна! — сдерживая раздражение, крикнула хозяйка артели. Это значило, что госпожа Тимирева могла бы чем-то заняться, не стоять столбом посреди цеха.

Поспешила к «Вильсону», строчить бесконечные мили швов по опушке белых полей простыни. Палец дергало так, что пронзало насквозь.

— Больно, Анна Васильевна? — наклонилась Алиса Кызласова.

— Ничего-ничего! Пройдет. Рожать больше!

Княжна сощурила свои красивые татарские глаза, покачала головой. Анна нашла силы улыбнуться:

— Барин приходит в Славянский Базар, заказал огненный суп. Лакей несет ему тарелку, а пальцем в суп заехал. Вот так, — показала. — Барин, конечно, возмутился: «Ты что же это вытворяешь, скотина?» А тот ему: «Палец, ваше сиятельство, болит, спасу нет!» «Так засунь его себе в задницу!» «Совал, ваше сиятельство, не помогает!..»

В лицо бил южный, с брызгами дождя, холодный ветер. Шумели тополя, ветер трепал ярко позеленевшие листья. А под ногами золотыми рублями — желтый лист. По лужам пробегает рябь — и как-то зябко от этой осенней картины. А ноги норовят свернуть в сторону, только бы не к старикам-чалдонам.

То есть Анна понимала, что не может же Верховный, будучи официально женат, жить у всех на виду с неразведенной женой боевого товарища. А в душе закипала обида и негодование пуще, чем у Анны Карениной. Как так получилось, что залезла в этот мучительный, постыдный капкан?

Палец ныл, так и тянуло сунуть, подержать в холодной луже. Как-то все не так складывалось в жизни! Наклонилась, стараясь рассмотреть себя в отражении беспокойной воды: не состарилась ли? Кому теперь нужна такая? С опухшим пальцем.

Мимо, с лошадиным храпом и смачным топотом копыт, проскакали казаки. С красными лампасами. Донцы. С родного юга! За порядком следят. И отлегло от сердца, и походка вернулась прежняя, легкая. А милый... что ж! Еще бабуса говорила: «У них одно на уме: как бы нашу сестру до беды довести да скорей на коня». И вздрогнула! На чахлом топольке — мокрая, с распущенными крыльями, ворона. Открыла клюв, будто подавилась: кар-р, кар-р!.. Автомобилистка. «Саг» ей подавай.

Казаки на перекрестке. Смотрят. Вообще-то они не только следили за порядком, а и сами творили черт знает что. Пытливый, неподвижный их взгляд смущал, и уж хотелось свернуть в подворотню. Но шагала все так же твердо, решительно. И когда поняла неизбежность насилия, вдруг проорала степным зычным голосом:

— Здорово, станичники!

Казаки дрогнули и подтянулись.

— Благодарю за службу! Вольно!

Казачи распустили бороды улыбкой.
— Рады стараться, — отозвался старший снисходительно и коротким движением пустил лошадь на рысь.
Скоро стук копыт истончался и смолк. Все-таки опасно ходить этим узким разбойничьим переулком. Особенно вечером. ОМСК — «отдаленное место ссыльных каторжников». Только и осталось надежды на авось, небось да как-нибудь.

Гл. № 2

Старик бухал под крышкой своим колуном.

— Скоро он?

Анна потрясла головой. Старушка приготовила грибы, достала горбушку хлеба, отрезала три больших куска. Над третьим, правда, слегка задумалась. И отрезала потоньше. Кот Шамиль беззвучной белой тенью вился у ног. Голоса не подавал, терпел.

— И что бухает? Дня не будет, что ли?

Золотистое пламя лампы чуть слышно шипело. Или это стекло так шумит? Анна осторожно сняла жакет, села на сундук. В печке едва слышно звенели, пищали прогоревшие угли. Хозяин все гремел колуном. Странно все-таки: бросила сынка, оставила мужа, опозорилась на весь белый свет, работает белошвейкой — и вот сидит со своим больным пальцем, как старуха у разбитого корыта.

Наконец колун смолк. Баба Нюра достала рогаком из мрачных глубин печи чугунок упревших, протомившихся щей. Каленые щи не парят, таят огненную свою температуру, караулят: кто не остережется, схватит — ошпарит небо и язык.

Дед дует в деревянную ложку, жует хлеб. Анна Васильевна тоже дует и тоже жует сухомыткой. Дед с шумом, ребристо морща лоб, втягивает в себя огненную жижу. Бабушка ест степенно, сидит чопорно. Также из староверов. Как и Анина бабуся. Та была даже строже в вопросах религии. Это ж надо: выставила за порог солнышко русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина!

И опять неловко ткнулась пальцем — и он взорвался искрящейся болью.

— А это чё тако?

— Да вот...

— Ага! — обрадовалась хозяйка. — Это надо греть! — и легко поднялась, поставила кувшин на печь.

И скоро Анна уже сидела с пальцем, опущенным в нестерпимо горячую воду. Поминутно выдергивала, обдувала, но постепенно палец стал неметь, жар вкрадчиво, щекотно вгрызался до косточки. Боль отступала, приобретала приятный щекочущий оттенок.

Старики сидели за столом с той и другой стороны и плотоядно улыбались, будто ожидали чего от нее. Огонек в лампе перетекал с края на край фитиля, вытягивался, чадил и опять опадал, тихо освещая избу.

— А чё-то абмирала не видать? — поинтересовался старик.

— Все тебе знать надо! — прикрикнула жена, но при этом повернулась и притихла, ожидая ответа.

— Некогда ему, — извинилась за Александра Васильевича. — В Тобольске дела.

И прикусила язычок: можно ли выдавать такую тайну, не просочится ли куда не следует?

— Не страшно ли в Тобольске-то? — и на недоуменный взгляд баба Нюра пояснила: — Тама же царя с царицей застрелили.

Дед в досаде чмокнул, не имея сил выносить глупость жены.

— А чё я такое сказала?

— Да их в Екатеринбург, — мягко напомнила Анна.

Баба так и закудаhtала от хохота.

— Ну, хоть и в Бурге! А мне пало на ум, что в Тобольском.

Видно было, что гибель августейшей семьи не больно печалила старушку. Дед набирал в рот чай и громко полоскал. Гигиеничный такой попался хозяин.

— А как же ты с ём познакомилась-то, вот что скажи.

— На поезде ехали. В одном купе.

— В одной купе с абмиралом?

— Билеты так дали.

— Да-а... — удивительно было, что можно так запросто поехать по железной дороге, с кем угодно, на соседних полках.

Они удивились бы еще больше, если б знали, что военный, несколько раз навещавший их, и есть тот самый Колчак, которого давно уж крепко недолюбливало население города. Думали: ходит какой-то, да мало ли их теперь развелось! Нищих генералов да князей.

— А ты ему глянешься, — скромно потупилась старушка.

— О! А чё бы и не поглянуться! — заступился за квартирантку дед. — Не ряба, поди, — и озорно сверкнул глазом на Анну Васильевну.

А она вздохнула и неприметно потянулась всем упругим, гибким телом в тоске по крепким объятьям адмирала. Боль окончательно отошла, будто окуталась пушистой немотой.

— Подливай, подливай! — подвинула кувшин старушка.

— Шибко-то тоже нельзя. А то будет... похлебка из пальца!

На это громко, раздольно рассмеялись. Дед даже и до слезы — приятно сознавать себя острым на язык человеком. Просмеялись, затихли. За окном непроглядная ночь. С ветерком. Будто кто шарит по избе то с того, то с другого угла. На подловке зашуршит, зашуршит — брякнет. И тишина такая, что пошевелиться боязно.

И тут резко, оглушительно застучало в ставень.

— Хозяева! Открой! — окрик грубый, требовательный, властный. За столом так и обмерли, боясь вздохнуть. — Откр-рывай! — и хлесткий, с раскатом звук выстрела.

— Дак чё же это? А? — суетливо оглянулась на заробевшего деда старушка. — Велят открыть.

Дед одними губами выговорил слово, поднялся, шагнул в черные сенцы. Женщины замерли, не дыша. Шамиль беззвучно взлетел на печь и неподвижно светил оттуда. Стукнула наружная дверь. Забубнили голоса. Кто же мог быть? Слишком много в последнее время свалилось на обывателя Омска. Оно и так-то каторжан не переводилось, а теперь даже жуть брала. Зайдут в избу, заберут, что понравится, да еще велят Бога молить, что добрые попались, в живых оставляют. Редкую ночь не озарит пожар, два, а то и больше того.

Опять забубнили голоса, хлопнули воротца. Идут по двору. Женщины вздохнули и замерли. В сенцах загремели, дверь отворилась — мерцающая золотом погон и кокардой, шагнул через порог офицер.

— Извините великодушно, — переполнил избу рокошующим голосом, — испугал, наверное? — как конь топтал по половице подкованными каблуками Удинцов. — Уж третий дом бужу! — гремел он жизнерадостно. — Вы решительно прячетесь, Анна Васильевна! — ротмистр никогда не пил, сейчас же едва не выплясывал в химической радости. — Собир-райтесь, зовет! — неопределенно улыбаясь, осмотрел прихожую, служившую старичкам и столовой.

Старушка пришла в себя и нашла нужным попенять незваному гостю:

— Уж больно громогласно, — поджала увядшие губки, — можно бы маленько и потише, говорю.

Удинцов взглянул удивленно и ничего не сказал. Анна Васильевна ушла в комнату, чтоб переодеться, привести себя в порядок. Ее трясла лихорадка радости: позвал! Значит, нужна! Значит, возможно сближение! Скользнула в холодное, любимое его, парчовое платье. Не расчесалась, а только похватила горстью пышный свой волос — готово! Облагородилась ароматом духов «коти».

На холодной темной улице ждал автомобиль. Ротмистр открыл дверцу, и Анна села на пружинное сиденье. Машина чихнула, заурчала железным нутром, дернулась, пошла. Волновала одна мысль: о счастье предстоящей встречи. Кажется, все в ней менялось при виде его, дышала по-другому. И сердце стучало иначе. И жизнь рядом с ним лучилась счастьем.

— Что там? Что за общество? — прокричала сидящему впереди Удинцову.

— Не волнуйтесь! Ничего...

От Надеждинской до Батюшкинского особняка рукой подать, если на моторе. Вышли. Бесконечно широкий, черный Иртыш терялся, растворялся в невысоких берегах. Горят звезды. Мерцают. Так же мерцали и пятьсот лет назад, когда в этой реке тонул Ермак.

— Прошу покорно, — хотел взять под руку, в темноте ошибся, пальцы толкнулись ей в грудь, испуганно отдернул. Только крикнул, не смея извиниться. — Прошу, — отступил, пропуская к особняку. Со столба белым светом ударил по глазам фонарь.

А сердце мрет, и по каждой жилке кровь, как пенное шампанское. Вот сейчас увижу! И прямой стрелочкой подалась к красному крыльцу с портиком. На ступеньке чуть споткнулась. Правой! К счастью! Ротмистр осторожно поддержал под локоток. Не промахнулся.

— Омск дал миру двух святых: вас и Достоевского!

— Что Достоевский? — встретил Верховный. Странно взъерошен, с лица еще больше почернел. Глаза с недосыпу красные. Спал «меньше Наполеона», три, а то и два часа.

И сердце Анны сжалось от сострадания и любви. И уж тянуло уцепиться за него, держать и не выпускать. Он стоял на месте, но видно, как встрепенулся и готов кинуться навстречу. Соскучился. Героев называют орлами. Колчак, со своими яркими глазами, горбатым носом напоминал эту гордую птицу. Но только раненую. С перебитым крылом. И во взгляде читалось одно определенное чувство: страдание. Обещал Анне счастье — а дать не смог. Даже не поселил в своем особняке. И, в сущности, все это время они оставались совершенно чужими.

Прошли в длинный, узкий, с одним окном кабинет. И здесь холодный английский кафель. При его-то воспалении легких! Изголодавшись друг по другу, так и переплелись пальцами, прилипли ладонь к ладони. Где-то в глубине особняка, на половине охраны, слышалась балалайка.

— Аня, вам надо бежать, — пропищал Колчак. — Скоро здесь будут *они*.

Но Анне не страшно! Она выросла в артистической и казачьей среде — на смерть смотрела без ужаса. Да. Время от времени это бывает. Более того, со всеми. Так стоит ли сокрушаться по этому поводу с таким трагическим надрывом?